

**Борис Полевой. Силуэты
(отрывок)**

*М. Горький.
Рождение «Смены»*

Все чаще вспоминаю я теперь одну старую, несколько странную, можно, пожалуй, сказать, уникальную дружбу, завязавшуюся в свое время между тверскими комсомольцами и Алексеем Максимовичем Горьким, жившим тогда, как говорится, за тридевять земель от наших верхневолжских краев.

В 1927 году Тверской губком комсомола решил преобразовать свой еженедельный листок «Путь молодежи», выходящий при «Тверской правде», в самостоятельную газету, которую после долгих и шумных дебатов в комсомольских кругах решено было назвать «Смена». Она еще и не родилась, эта «Смена», но вокруг заводилы этого дела журналиста Ивана Рябова, считавшегося среди нас классиком тверской молодежной поэзии, из энтузиастов и доброхотов уже выкристаллизовывался штаб будущей редакции. Это были юнкоры «Пути молодежи», уже попробовавшие свои перья на печатных страницах.

Вот закрою сейчас глаза, и передо мной встает шеренга этих будущих сменовцев, встает, как живая. Иван Рябов, ясноглазый парень с развевающимся пшеничным чубом, напевно читающий свои, но главным образом есенинские стихи; и вышневолоцкий юнкор Леша Исаков, трудяга и отчаянный рыболов со щекой, раздутой флюсом; и Григорий Пантюшенко — белокурый томный юноша, поэт, деликатнейший парень, старавшийся и писать и декламировать под Маяковского; и продавщица из книжного магазина Наташа Кавская, прехорошенькая девушка, щеголявшая по комсомольской моде тех дней в красной косынке и юнгштурмовке, туго перетянутой ремнем; и, наконец, будущий секретарь будущей редакции Самуил Аксельрод, в просторечии Мулька, но чаще всего Кислород, ибо прозвище это необыкновенно подходило к этому энергичному, жизнерадостному, подвижному парню.

Собирались в маленькой комнатке, где стоял единственный стол Кислорода, собирались и горячо обсуждали, какова же должна быть эта, еще только зачатая газета. Спорили, спорили и решили задать этот вопрос ее предполагаемым читателям — молодым текстильщикам Твери, Вышнего Волочка, обувщикам Кимр, рыбакам Осташкова, молодым крестьянам из пригородных волостей: что больше всего хотелось бы им видеть в своей газете? Написали от руки и разослали по комсомольским организациям сотни писем. Получили десятки ответов.

Ответы очень разнообразные. Но в одном почти все читатели сходились: это в своем интересе к литературе и литераторам, в своей любви к Горькому, творчество которого в те дни занимало всех. Решено

было обстоятельно ответить на этот единодушный, настойчивый запрос. Но как? Какое из произведений Горького стоило бы напечатать? К какой из известных его биографий обратиться? Как завязать связь с этим человеком, так интересующим молодежь?

Ведь говорили — он нездоров. Знали, всемирная слава несет к нему потоки писем со всех концов земли. Знали, как он занят и как это нечестно беспокоить столь загруженного человека. Всё знали. Но пожелания читателей и наше стремление сделать интересную газету в конце концов опрокинули все эти трезвые сомнения, и в Италию, в Сорренто, где в те дни жил писатель, пошло толстое письмо, к которому был приложен только что вышедший тогда первый номер «Смены».

Аккуратнейший адресат

Отослали и, по совести говоря, забыли об этом письме, ибо слишком мало было надежд даже на получение ответа. И вдруг в почте от 24 ноября 1927 года Наташа Кавская, ведающая в числе других обязанностей и отделом писем, нашла голубой конверт с иностранными марками. Круглым, энергичным почерком был выведен адрес: «Советский Союз. Тверь. Советская улица, 45. Редакция газеты „Смена“. Всем». Слово «Всем» было дважды подчеркнуто.

Горький! Ответ Горького! Эта весть как молния осветила этот редакционный день. Не знаю уж, какими путями она мгновенно разнеслась по городу, и помнится, что в маленькой комнатке, где за единственным столом восседал наш Кислород, в этот день не смолкал телефон и стены просто трещали под напором посетителей, требовавших не только прочесть, но посмотреть, подержать в руках, пощупать голубоватый жесткий конверт.

Горький писал:

«С газетой я вас, товарищи, искренне поздравляю, очень удалось — живая, бойкая, интересный материал, горячо подан, притом грамотнее некоторых провинциальных „взрослых“ газет.

Может быть, потому, что теперь для меня время бежит, как нахлестанное, и потому, что я слишком хорошо помню мучительно медленный шаг прошлого, но мне кажется, что вы, комсомол, растете удивительно быстро. Это не комплимент человека, который хочет нравиться, а действительное мое впечатление, вызванное, разумеется, не только одной вашей газетой. Нет, я имею в виду то, как решительно отказываются комсомольцы от некоторых своих ошибочных увлечений, например, в области современной литературы, которая иной раз слишком торопится густо подчеркнуть темные стороны быта, — возьмем хотя бы отношения полов. Подчеркивая по-судейски отрицательные явления, литература сосредоточивает нездоровое внимание на том, что требует

здоровой и активной борьбы. Мне кажется, что комсомольцы понимают, как неверны и обидны для них торопливые выводы.

Посоветовать вам, что из моих рассказов можно бы напечатать в „Смене“, затрудняюсь. Не совсем ясно представляю, что явится для вашего читателя наиболее интересным по смыслу и по форме.

Может быть, подойдет „Человек“, „Песня о Соколе“, „Буревестник“? Пожалуй, рекомендовал бы „Мать“, из „Итальянских сказок“. Мне кажется, что теперь перед матерями стоят новые и огромные задачи по отношению к детям и что девицам комсомола следует подумать и над этой своей ролью в жизни. Возможно, что моя „Мать“ заставит подумать над этим.

Если хотите познакомить читателя „Смены“ с моей биографией, рекомендую вам статью товарища Ильи Груздева из „Молодой гвардии“ за 27-й год, книги 1-я, 5-я.

Обращение к молодежи напишу в январе, раньше не могу, очень много работы.

Примите мой товарищеский привет.

А. Пешков

18. XI-1927 г.

Сорренто»

После получения письма редакция недели две не знала покоя. Письмо это торжественно опубликовали. Но подлинник пришлось вставить в рамку и повесить на стену, чтобы любопытствующие посетители, поток которых не прекращался, могли читать с оригинала, без опасности затереть и замаслить его. В субботние дни, когда на фабриках работа кончалась пораньше, у письма собиралось столько народу, что наш Кислород хватался за голову и кричал, что ему уже нечем дышать. На это наша стенная газета, носившая несколько странное название «Пегашкин жеребенок», даже откликнулась сатирической репликой: «Кислород задыхается».

Ответ писателю решено было сооружать коллективно. Для этого в начале декабря было создано расширенное редакционное совещание с юнкорским активом, как значилось в повестке дня, «...для написания коллективного ответа А. М. Горькому». Это было чрезвычайно шумное совещание, ибо каждый настойчиво требовал, чтобы в письмо включили то или другое. Его писали как запорожцы на известной картине Репина, причем роль маленького запорожца в черном камзоле и очках, записывавшего мнение общественности, была доверена мне. Потом мы с Рябовым свели воедино самое важное из того, что тогда накричали участники совещания. Вот отрывки из этого, так сказать «исторического» ответа.

«Дорогой Алексей Максимович! — писали молодые люди города Твери от имени десяти тысяч читателей „Смены“, — трудно выразить радостное волнение, которое вызвано Вашим письмом.

...Мы благодарим Вас за сердечный отклик на нашу просьбу, за Ваши советы и указания молодежи. Из Вашего письма видно, что судьба советской молодежи для Вас далеко не безразлична, что Вы следите за ее жизнью, за ее бытом. Это тем более ценно потому, что наша молодежь рада многому учиться по Вашим произведениям.

„Мать“, „Дело Артамоновых“, „Мои университеты“ — наиболее популярные книги среди рабочих и учащихся. Именно за этими книгами в любой из библиотек длинная очередь читателей. Этот читатель глубоко интересуется Вашими литературными планами, известия о которых встречаются в печати, и нас глубоко радует Ваш замысел — писать книгу о новой России.

Алексей Максимович!

Мы надеемся, что свой юбилей Вы будете праздновать в новой России — на своей родине.

Советскому Союзу есть что показать своему писателю. Десять лет революции внесли огромные изменения, произвели большой переворот во всех областях работы, жизни и быта страны.

От векового экономического угнетения, от бесправия масс — к их освобождению, к осмысленному участию масс в управлении своим государством. От духовной кабалы, темноты и невежества — к пышному расцвету сил и возможностей, к невиданному до сих пор подъему народного творчества.

Например, нашу газету заливают прибой рукописей из города и деревни. Масса стихов, очерков, рассказов свидетельствует о большой жажде молодежи к творчеству... Наряду с этим мы наблюдаем исключительный подъем интереса и любви молодежи к литературе...

Повторяем, что наша молодежь терпеливо будет ждать выполнения Вашего обещания — художественно отразить нашу жизнь, приехать к нам в Советскую республику.

Мы были бы рады видеть Вас в Твери. Здесь мы можем показать Вам фабрики, принадлежащие уже не богачам Морозовым (одного из которых вы описали), а всем трудящимся.

Мы можем показать Вам просторные, светлые клубы, школы и рабфаки, детские сады и ясли, показать новые отношения между людьми, показать все, чего никогда не было, да и не могло быть при Морозове.

Ваш приезд явился бы большим праздником для нашего города, для нашей губернии.

Выражая эту просьбу рабочей и учащейся молодежи Твери, расширенная редакция „Смены“ еще раз передает ее горячий привет и пожелания творческой работы своему любимому писателю».

Потом состоялась церемония подписания этого послания. Именно церемония. Кроме сотрудников редакции под ним поставили свои подписи десятки юнкоров с фабрик, заводов, из деревень, для чего иным приходилось отшагать немало верст по очень негладким проселочным дорогам того времени.

Так и возникли добрые отношения между Горьким и тверскими комсомольцами, которые наш знаменитый корреспондент назвал потом дружбой.

Решение моей судьбы

Тут перо мое начинает дрожать, ибо я приступаю к описанию одной лихой газетной затеи, которую до сих пор не могу вспоминать без содрогания. Газету «Тверская правда» вел в те дни Алексей Иванович Капустин — самый инициативный редактор из всех, какие только потом попадались мне на моем уже длинном газетном пути. Блестящий выдумщик, держащий руку на пульсе жизни, он всегда был озабочен, чтобы газета, под которой стояла его редакторская подпись, была не только боевой, не только умной, но и обязательно интересной.

— Нет на свете ничего скучнее скучной газеты, — поучал он молодых журналистов.

Дни студенческих каникул я целиком отдавал газете, и Капустин избрал меня одним из исполнителей этих своих затей. Так, одно лето, чтобы потом дать несколько очерков о тверской деревне, где в те дни еще только пробивались первые ростки коллективного землепользования, я проработал избачом в селе Микшино — центре тверской Карелии. На другое лето, когда потребовались очерки о лесозаготовках и лесосплаве в волжских верховьях, он командировал меня к истокам Волги в село Селижарово. Там я определился рабочим в сплавную контору, участвовал в сплачивании плотов, а потом на гонках в качестве «заднего кормового» прошел путь от волжских верховьев до города Рыбинска, изрядно при этом заработав, ибо гонщикам, как в наших краях звали плотовщиков, в те дни платили куда больше, чем газетным репортерам. Ну, а пока течение неторопливо несло гонки вниз по реке, писал по ночам у костра очерки «На плотях».

Нэп в те дни был уже на закате. И время это было отмечено ростом преступности, проституции и всяческих иных потайных зол. Параллельно с большим миром, начинающим строить социализм, возник эдакий подпольный маленький, очень ядовитый мирок, который стал мешать миру большому делать свои благородные дела.

Так вот, неугомный наш редактор вызвал однажды меня к себе. Запер дверь кабинета и таинственно сказал:

— Вот что, ты был избачом и гонщиком. Получилось. А теперь становись блатняком. Понимаешь, поживи в их блатной шкуре, подгляди,

что там у них и как, связи их повысмотри, кто им помогает, кто им ворожит. Понимаешь? А потом грохнем серию разоблачительных очерков, всю эту шваль будто шляпой накроем. Ну как, нравится такая затея? Чего молчишь? Слабо? Штаны мокрые?

Я переминался с ноги на ногу.

— С кем надо, это согласовал. Если угодно, можешь рассматривать как комсомольское задание. Только, чур, не болтать, могила. Согласен? Вот и хорошо. Чекисты тебя оборудуют. У тебя, кажется, в Москве есть тетя? Тетя Маня? Вот и хорошо. Ну так для всех ты уезжаешь к своей любезной тете Мане, навестить старушку. Она хворает. Понял?

И вот, соответственно преобразенный, я как бы влез в шкуру молодого московского налетчика, запасся явками, крупными купюрами с переписанными номерами для дачи взяток и, больше чем на две недели, так сказать, опустил на дно. Свыкся со страшным бытом, настолько вошел в роль, что, обнаглев, однажды явился в собственную редакцию, якобы в сильно пьяном виде, затеял в бухгалтерии большой шухер и был изгнан в шею сотрудниками отдела информации, где, как известно, по традиции работают самые дюжие люди. Изгнан и не узнан — вот в чем был репортерский шик.

Серия очерков, написанных в результате этого моего похода, по причинам, от редактора не зависящим, напечатана не была, и друзья из тверской ассоциации пролетарских писателей, которых сокращенно называли «таппами», помогли мне сбить эти очерки в книжку. Книжке этой дали устрашающее название «Мемуары вшивого человека». Мой старший друг — поэт и партработник Александр Ярцев — написал к ней доброе предисловие, и вскоре она увидела свет.

Отчетливо сознаю, что качества этого моего первого книжного труда были весьма сомнительны. И вспоминать о нем я не стал бы сейчас, если бы не события, развернувшиеся впоследствии. Жажда тем для продолжения диалога, завязавшегося с Горьким, надоумила моих сменовских друзей послать эту книгу в Сорренто. Это было сделано без моего ведома. Узнав об этом, я не только огорчился, но и здорово рассердился: оторвать золотое время Горького на чтение моего скороспелого труда... Тут есть от чего покраснеть.

Каково же было общее удивление, когда вскоре из Сорренто пришел довольно толстый конверт. Оказалось, что Горький не просто прочел книгу, но прочел, так сказать, с карандашом, по-редакторски, и нашел время ответить пространном письмом на шести рукописных страницах.

«Б. Полевому.

Товарищ Ярцев находит, что язык Ваших очерков „солен, меток, богат образами“. Давайте разберем, так ли это.

Прежде всего — откинем язык диалогов, его сочность и меткость принадлежит не Вам, Вы его почерпнули из „блатной музыки“. Вам

принадлежит язык описаний. „Ночлежка — каменный череп“, пишете Вы. Это — плохой образ, потому что не ясный. Говоря „череп“, нельзя отказаться от представления о форме шара, хотя и не совершенной. А Вы, говоря „ночлежка — череп“, говорите о части черепа, черепной крышке, о своде, причем заставляете меня, читателя, видеть ее не снаружи, а изнутри. Понятно? Затем: необходимо избегать соединений конечного слога одного слова с начальным другого, когда эти слога, сливаясь, образуют третье: ка-ка.

„Лампочки точно желтые глаза собаки“ — этот образ повторяется у Вас дважды на тринадцатой и шестнадцатой стр. „Тускло cedят желтый грязный воздух“. Cedят всегда сквозь что-нибудь и медленно или быстро, а „тускло“ cedить — это никто не поймет. И как могут лампочки cedить, т. е. пропускать сквозь себя воздух? Затем: если Вы сказали „лампочки желтые“, этим Вы уже сказали, что и свет желтый, не нужно повторять одно и то же слово на близком расстоянии, скучно это.

Вы часто искажаете слова: „швыбздик“ — правильно будет „шибздик“. Не „сколыпнул“, а „сколупнул“, — от глагола — колупать. „Очини ухо“, — ухо — не карандаш. „Очини“ это должно быть украинское „отчини“ — открой. „Заместо голландского отопления бы нанялся“ „бы“ следовало поставить после „нанялся“. Русские всегда так и ставят. Человек у Вас „кусал, царапал, целовал, ласкал“ землю. Возможно, что он все это и делал, но не так, как Вами написано, потому у вас трудно поверить, что человек действительно делал это.

Все это — не пустяки, не мелочи, а — техника. Так же как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал — язык, слово, иначе он будет не в силах „изобразить“ свой опыт, свои чувства, мысли, не сумеет создать картин, характеров и т. п. Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой литературной работы так же мастерски, как владели ею наши классики. Вам надобно знать все, что знали они и — знать лучше их. История призвала Вас к созданию новой жизни, значит — Вы должны и литературу тоже обновить. Вам не надо торопиться хвалить друг друга за малые успехи, на Вас возложена обязанность стремиться к успехам большим. На Вас, на Вашу работу с надеждой смотрит трудовой народ всего мира, из Вашей среды должны выйти поэты, ученые, вожди. Вы должны учиться, не щадя себя, учиться всему, что есть лучшего в мире, всякой технике и, конечно, технике словесного творчества. Этому научиться не так трудно, потому что у Вас есть великолепные образцы: Гоголь, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Пришвин и немало других отличнейших знатоков русского языка, строя русской речи. Поймите меня: я говорю не о подражании, а только о необходимости для Вас обогатиться словами, изучить дух языка, строй речи. Идеологической заразы отравления духом враждебного Вам класса бояться не следует, — всякий

страх возникает из непонимания, да и уже проходит то время, когда рабочие люди чего-то боялись.

Затем, возвращаясь к т. Полевому, я должен сказать, что он, несмотря на его промахи технические, человек — по натуре его — даровитый, это — ясно. Но, учиться надо, товарищ, учиться!

М. Горький

30 марта 1928 г.

Сорренто

Биографию фабрики, пожалуй, Полевому рано писать, очень трудная тема»...

Помню, схватил это письмо, убежал на набережную Волги, на тот самый ее конец, где иссякал город и начинались пустыри, сел на какое-то бревно и снова и снова перечитывал слова: «...Так же как токарь по дереву или металлу, литератор должен знать свой материал — язык, слово...» «Вам не надо торопиться хвалить друг друга»... «Учиться надо, товарищ, учиться». Эти фразы так вросли в память, что и сейчас вот, сорок пять лет спустя, я легко воспроизвожу их, не боясь ошибиться даже в запятых.

Это письмо молодые тверские литераторы не только читали, но по фразам заучивали наизусть. Оно стало программой литературного кружка, организовавшегося при редакции «Смены». Что там греха таить, все мы тогда были ребятами с большим самомнением. И, написав по паре-тройке стихотворений или тиснув в газете рассказец, начинали мнить себя поэтами, писателями и торопились расстаться с фабрикой или деревней, бросить учебу и перейти на литературный труд. Сколько такого приходится наблюдать и сегодня!

Письмо Горького как бы сразу охладило нас, не обрубив крылья, поставило, однако, на землю и заставило многих серьезно взяться за учебу. Думается мне, что эти горьковские советы, адресованные, в сущности, не одному, а всем молодым писателям, и сегодня не выцвели, не потускнели, не потеряли своего организующего значения.

Для моей же судьбы письмо это было решающим. Я понял, что литература, журналистика — профессии сложные, серьезные, требующие труда и максимальной самоотдачи, что нельзя ими заниматься между делом, что надо им отдаться целиком.

Наш советчик

Переписка Тверь — Сорренто продолжалась. Она стала регулярной и принимала все более дружеский характер. Горький и адресовался к нам как к своим друзьям, давал советы, сообщал интересные новости из своей жизни и обращал внимание на самое интересное, что было в те дни в международном положении.

16 марта 1928 года мы получили радостное известие. Горький сообщал, что готовится выехать в Советский Союз, и обещал, что приедет

в Тверь, лично познакомиться со своими корреспондентами — тверской молодежью и поговорить о принятии шефства над газетой «Смена», на что мы более или менее неуклюже намекали почти в каждом своем письме.

В этом письме он, в частности, советовал: «На днях в „Известиях“ или в „Читателе и Писателе“ появится статейка моя „О науке“. Вы бы в „Смене“ перепечатали кусочка два-три».

В конце письма Горький, между прочим, писал:

«Получил письмо из Нью-Йорка от одного товарища. Сообщает, что после нескольких лет официального благополучия здесь начинается глубокий кризис, который всего заметнее на быстром росте количества безработных.

В Ист-Сайде огромнейшие, в несколько тысяч человек, очереди безработных в ожидании бесплатной тарелки супа или места в ночлежке. В Колорадо и Пенсильвании между шахтерами и владельцами копей идет борьба. В настоящее время около 200 тысяч шахтеров, в буквальном смысле слова, умирают с голода.

Товарищ — солидный человек, к преувеличению не склонен.

В прошлом году в Нью-Йорке была организована выставка коллекции почтовых марок. Стоимость этой выставки, ни к черту не годных кусочков бумаги, оценена была в 40 миллионов долларов, т. е. в 800 миллионов рублей. Так-то.

А. Пешков».

Это была совсем уже дружеская информация. Так пишут отцы детям, делаясь с ними тем, что особенно занимает и увлекает их, желая, чтобы дети разделили их тревоги.

Кто есть пролетарский писатель

Особенно интересным было письмо, полученное тверскими комсомольцами 19 апреля 1928 года. Его Алексей Максимович прислал по своей инициативе, без всяких вопросов с нашей стороны. Просто захотелось, по-видимому, поделиться с людьми, которым он симпатизировал, тем, что его занимало, а может быть, и тревожило.

В этом письме Алексей Максимович коротко сообщал, что литературный кружок в профтехнической школе в г. Покровском обратился к нему с вопросом: пролетарский ли он писатель. На этот вопрос он ответил статьей, которую вместе со своим письмом прислал и в «Смену».

Вот эта статья, которую почти целиком перепечатаваю из «Смены» № 46 за 20 апреля 1928 года.

«Дорогие товарищи! Лично меня не интересуют споры критиков о том — пролетарский я писатель или не пролетарский. В массе юбилейных поздравлений, получаемых мною от рабочих со всех концов Союза, рабочие единодушно именуют меня „нашим“, „пролетарским“ и

„товарищем“. Голос рабочих для меня, разумеется, внушительнее голоса критиков. Я очень горжусь тем, что рабочие меня считают своим человеком, своим „товарищем“: это искренняя моя гордость и великая честь для меня. А термин „пролетарский“, на мой взгляд, уже не совсем отвечает действительному положению трудовой массы Союза Советов. „Пролетариатом“ именуется, как вы знаете, класс людей, живущих личным заработком и не имеющих иных средств к существованию. Но приложимо ли это наименование к рабочим и крестьянам Союза Советов, к трудовой массе, которая взяла в свои руки политическую власть в нашей стране и постепенно овладевает всем хозяйством, всеми сокровищами страны. Вопрос должны решать вы сами.

Вы спрашиваете: „По каким признакам можно определить действительного пролетписателя?“ Думаю, таких признаков немного. К ним относятся активная ненависть писателя ко всему, что угнетает человека извне его, а также изнутри, все, что мешает свободному развитию и росту способности человека; беспощадная ненависть к лентяям, паразитам, пошлякам, подхалимам и вообще к негодьям всех форм и сортов.

Уважение писателя к человеку, как к источнику творческой энергии, создателю всех вещей, всех чудес на земле, как борцу против стихийных сил природы и создателю новой, „второй“ природы, создаваемой трудами человека, его наукой и техникой для того, чтобы освободить его от бесполезной траты его физических сил, затраты неизбежной, глупой и циничной в условиях государства классового.

Поэтизация писателем коллективного труда, цель которого — создание новых форм жизни, таких форм, которые совершенно исключают власть человека над человеком и бессмысленную эксплуатацию его сил.

Оценка писателем женщины не только как источника физиологического наслаждения, а как верного товарища и помощника в трудном деле жизни.

Отношение к детям как людям, перед которыми все мы ответственны за все, что мы делаем.

Стремление писателя всячески повысить активное отношение читателей к жизни, внушить им уверенность в их силе, в их способности победить и в самих себе, и вне себя все то, что препятствует людям понять и почувствовать великий смысл жизни, огромное значение и радость труда.

Вот в краткой форме мой взгляд на писателя, который необходим трудовому миру...

...История возложила на вас, молодежь, великий труд — быть проповедниками нового отношения к человеку, учителями строения новой жизни. Это обязывает вас дружно и усердно учиться, прежде всего учиться. Чем больше знает человек, тем он сильнее. Это неоспоримо. А

когда человек знает, как огромна и величественна цель, поставленная им себе, он становится еще сильнее.

Тогда для него пошленькие „мелочи“ жизни, вся старенькая дрянь ее, вся ее грязь и „пыль веков“ — все то, что создает позорную психологию „мещанства“, „мелкобуржуазность“, не существует, не может заразить писателя. Он, писатель, не должен подчинять себя ядовитому хламу „бытовизма“, а упорнейше бороться против него; не должен скулить и охать, потому что „мелочи жизни“ стесняют его, немножко мешают ему. Он должен знать, что уродливости быта мешают всем и жалобами их не одолеешь. Только смелая борьба, только упорный и радостный труд преодолевают все уродливости нашей жизни.

Писатель должен твердо знать и помнить, что человек по натуре своей не „негодяй“, а существо, испорченное отвратительной организацией классового государства, которое не может существовать, не насилуя людей, не возбуждая в них зависти, жадности, злобы, лени, отвращения к подневольному и часто бессмысленному труду, стремления к легкой наживе, к дешевеньким и дрянненьким удовольствиям, к распутству, пьянству и всяким пакостям.

Вы, молодежь, должны знать и помнить, что есть люди, которым выгодно и необходимо утверждение, что „негодяйство“ есть „врожденное“, как говорят они, свойство человека, что оно коренится в его зоологических звериных инстинктах, внушено и внушается дьяволом, что все человеческие поступки — „выражение извечной борьбы дьявола с богом за обладание душой человека“. В основе этой проповеди скрыто стремление ограничить, убить волю человека к лучшей жизни, к свободе труда и творчества, стремление воспитать его рабом классового государства и общества. Эта проповедь рассматривает человека только как сырой материал, как руду, из которой можно делать топоры, цепи, штыки, утюги, вообще орудия, инструменты.

Проповедники этого учения тоже „негодяи“, т. е. люди, негодные для честной активной и трудовой жизни, люди, которые не могут, да и не хотят представить себе жизнь в иных формах, чем та, в которой жизнь цинически и унижительно для трудового народа заключена. Учение о „врожденных“ или от внушения дьявола исходящих злых инстинктах очень легко опровергается тем фактом, что так называемые „дикари“ — негритянские племена Африки или наши сибирские племена — якуты, буряты, тунгусы — в сущности очень добрые люди, как это доказывается учеными-этнографами...

...И если вы хотите быть честными людьми, вы должны быть революционерами.

М. Горький
30 марта 1928 г.,
Сорренто».

У Горького в гостях

Это письмо, полученное «Сменой» от А. М. Горького, оказалось последним. Летом мы узнали, что он выехал в Советский Союз. Стали ждать. Готовились. Наш славный корреспондент был не из тех, кто нарушает свои обещания. У нас родился даже головокружительный проект: если он поедет через Ленинград, собраться всем комсомольцам и толпой выйти к ленинградскому экспрессу. В нашем литературном кружке был поэт, ездивший за кочегара на паровозе по маршруту Москва — Тверь. На него возложили обязанность своевременно сигнализировать общественности о том, когда поезд с гостем проследует через наш город.

Эта затея сорвалась. Мы прозевали. Зато москвичи, как мы узнали из газет, оказали любимому писателю грандиозную встречу. Страна приветствовала своего великого гражданина и великого писателя с исключительной теплотой.

А потом для Горького началась страда почета. Его наперебой приглашали к себе фабрики, заводы, культурные учреждения. За право «залучить к себе» Горького хотя бы ненадолго, на несколько минут, ссорились писатели и академики, военные части и институты. Мы, тверские комсомольцы, с ревностью следили за поездкой Горького по стране, следили, огорчались, досадовали на себя: ну какие же мы, к черту, комсомольцы, если не сумели залучить к себе человека, который сам обещал приехать, называл нас своими друзьями.

И вот родилась грандиозная идея составить энергичную делегацию, без предупреждения нагрянуть в Москву, захватить писателя врасплох и увезти, благо недалеко и поездов сколько угодно. Ну, а если не увезти, то хотя бы пожать Горькому руку от имени всей тверской комсомолии.

К выбору делегации отнеслись со всей серьезностью. Комсомольцы текстильных фабрик, вагонного, кожевенного заводов выбирали своих представителей на собраниях, тщательно обсуждая каждую кандидатуру. Пионеры на городском слете вручили полномочия краснощекой рыженькой девочке по прозвищу Морковка, которая обычно специализировалась в Твери на произнесении речей и приветствий. От «Смены» были включены в делегацию Наташа Кавская и я, а возглавить все это предприятие должен был тот самый Кислород, без которого в те дни не обходилась ни одна сменовская затея.

Ох, как ясно встает перед глазами этот погожий день в разгаре лета. Мы ехали в почти пустом вагоне. В открытые окна ветерок вместе с солоноватой сернистой гарью из паровозной топки забрасывал запах сена. Откосы полотна пестрели цветами, и мы до хрипоты орали песни, как бы зажигая их одну от другой.

План операции, как я уже сказал, был такой. Не заходя ни в какие организации, которые по тогдашним нашим понятиям «распределяли

Горького», ввалиться к нему на квартиру, адрес которой промелькнул в какой-то газете.

И мы нагрянули. Пренебрегли лифтом. Поднялись по широкой лестнице на нужный этаж. Довольно энергично постучали. Вышедшей на стук маленькой миловидной немолодой уже женщине с необыкновенно живыми и острыми глазами объявили, что мы делегация, имеющая особые полномочия. Вероятно, в этот день мы были уже не первыми и по тому, как сурово и несколько раздраженно взглянула на нас эта женщина, мы поняли, что посетители ей давно уже надоели. Однако, поборов раздражение, она довольно мягко сказала:

— Алексея Максимовича, к сожалению, нет. Он с утра уехал на какой-то завод. — И совсем уже добродушно добавила, явно апеллируя к нашей совести: — Ему ведь просто житья нет. Его совершенно заездили по разным собраниям. Мы его дома совсем не видим.

Нет, совести у нас не было. За нашей спиной стояли десятки тысяч тверских комсомольцев. Мы чувствовали их нетерпеливое дыхание. Мы выполняли их волю.

Дверь совсем было закрылась перед нашими носами, но выручила храбрая Морковка.

— Не гоните нас... Ну, пожалуйста... Мы издалека, — жалобно сказала она, и щеки ее стали краснее, чем галстук.

— Ну, если уж издалека, ждите, — ответили нам уже из-за двери.

И мы, усевшись на ступенях лестницы, стали ждать. К этому мы были тоже готовы. С нами был фанерный баульчик с картошкой, луком, яйцами, и огурцами. И одна вареная курица на всю команду. Не теряя времени, мы принялись уничтожать эти запасы и так этим увлеклись, что не сразу услышали, как загудел большой лифт. Когда роскошная, похожая на католическую часовню кабина остановилась за сеткой двери, мы встретили ее с набитыми ртами. В лифте было двое мужчин, из которых мы разглядели только одного — высокого, сутуловатого, с моржовыми усами, в круглой широкополой шляпе, с палкой в руке.

Он, Горький! Кто же его сразу не узнает! Судорожно проглотив еду и вытирая руки о штаны, мы загомонили на разные голоса:

— Здравствуйте, Алексей Максимович!

Такой знакомый по портретам, такой родной по письмам, он недоуменно смотрел на своих незваных гостей. Морщинистое, утомленное лицо. Тяжелые, желтовато-седые усы, обвисшие вниз. Ключковатые брови нахмурены. Он мог бы показаться сердитым, даже неприязненным, если бы не теплое мерцание глаз. Глаза эти придавали суровому солдатскому лицу выражение добродушия и юмора.

— Что за люди? Как вы сюда попали? И почему именно здесь, на лестнице, а?

— Здравствуйте, Алексей Максимович, — снова загалдели мы, идя на второй заход. Вперед вышел энергичный Кислород. Объяснил, кто мы такие, зачем приехали и почему ждем именно на лестнице.

— Ну, народ, — совсем уже вяввь усмехнулся Горький. — Сидите как сирые и убогие у парадного подъезда. Проходите, в дом, — и все мы сразу же обратили внимание, что круглое, сочное нижеволжское «о» как бы перекачивается в его речи.

Он провел нас в небольшую комнату, служившую ему, по-видимому, временным кабинетом, и так как стульев на всех не хватило, сам принес несколько штук.

— Садитесь, в ногах правды нет. Только, братцы, уговор: придется вам меня обождать. Мне еще пообедать надо. Есть хочется.

Ушел в соседнюю комнату. Застучали тарелки. А мы сидели, жадно озирались, стараясь не пропустить ни одной детали в обстановке этого временного его жилья. И сейчас вот перед глазами светлая комната, большой просторный неписьменный стол перед глубоким креслом. На нем пухлая рукопись в разукрашенной виньетками папке. Страницы заложены карандашами. Справа другая рукопись, раскрытая, по-видимому, читаемая. Фаянсовая тарелка с десятком нераспечатанных писем. Пачка остро отточенных карандашей, торчащая из стакана. Книга, на которой можно рассмотреть дарственную надпись «Творцу „Буревестника“ с горячей любовью».

Прочел я эту надпись и ощутил неловкость. Видимо, вот так с приветом и соответствующими словами и следует пересылать книги. А моя-то пришла чистенькая, стало быть, я оказался перед Горьким невежей. Четко во всех деталях вижу этот писательский, этот рабочий стол. Хотя и временный, он как бы хранил на себе незримый отпечаток трудолюбия своего хозяина.

Тарелки в соседней комнате продолжали еще греметь, а Горький уже появился в дверях, вытирая рукой усы. Осмотрел нас из-под клочковатых бровей веселым взглядом.

— Разместились? Сдвигайтесь поближе к столу. Без церемоний, без церемоний. — И сам поудобней уселся в кресле. — Вчера вот украинская делегация меня посетила, сегодня вы. Во все концы тянут... Жил себе человек спокойно, жил и жил. Потом вот приехал на родину, теперь теребят и теребят. За что, а?

Мы смущенно молчали. Наш собеседник улыбался. Наташа, обладавшая даром записывать все со стенографической быстротой, старательно склонялась над тетрадкой. Карандаши у нее от усердия один за другим сломались. Горький увидел ее беду. Достал из стакана один из остро отточенных карандашей и протянул ей. На лице ее отразилось блаженство: ну как же, займет карандаш, которым писал Горький. Наша Морковка не растерялась, извлекла из кармана мятый блокнотик и тоже

протянула руку за карандашом. Наш хозяин, по-видимому, разгадал этот маневр, так как на лицах наших отразилась зависть. Он дал нам каждому по карандашу. Все это произошло при полнейшем нашем молчании. Хозяин кабинета, улыбаясь, с явным увлечением делился своими впечатлениями о Советском Союзе.

— Здорово, здорово у вас все шагнуло. За шесть лет такие перемены. Не ожидал, не ожидал.

И по своей привычке иллюстрировать все яркими примерами, тут же и сказал:

— Вот недавно был в колонии социально опасных, организованной ГПУ. Колонией этой, представляете себе, друзья, управлял бывший преступник. Три года назад попал сюда как вор... Ходят они там свободно. На руках у них... деньги громаднейшие. Ни копейки не пропадает. Я разговаривал с некоторыми — хорошие, занятные люди.

Помолчал, басовито покашлял в ладонь. Достал папиросу, размял в руках и вдруг вежливо обратился к нашей Морковке:

— Вы разрешите?

— Валяйте, валяйте, — не смущаясь, разрешила она. — Ничего...

Покуривал. Выдыхал дым в сторону, отвертываясь от нас, и продолжал на ту же, вероятно особенно интересовавшую его, тему.

— Женщина одна там среди них есть. Миловидная. Рассказывая о себе, говорит: «Я и сейчас недурненькая, а ведь и вовсе красивенькая была». Ну, и крапа по магазинам, шарашничеством это у них называется. А сейчас вот работает в мастерской, ткет плахты — это такие полотнища с национальным украинским орнаментом. Замуж вышла. Ребенка ждет... И ведь и сейчас очень хорошенькая... Прекрасно.

Отложил в пепельницу недокуренную папиросу и прислужил, чтобы она не дымила.

— А один попал в эту самую колонию — украл что-то. Его поймали. Украденное отобрали и отпустили. Украл вторично. Удачно украл. Но сам потом в милицию пришел, говорит, арестуйте, не выдержал, спер. Но на этот раз все-таки осудили. Попал в колонию. А сейчас слесарь. Еще какой слесарь-то, лекальщик. Коньки там мастерят. Так он у них за главного. И еще в заводском оркестре на генерал-басе играет, как в свое время император всероссийский Александр Третий... Вы, поди, и не слышали о таком? — обратился он к Морковке.

— Слышали, — ответила та басом. — Толстый такой.

— Вот, если вдуматься во все это, ведь как это замечательно. Я прямо поражаюсь. Такое возможно только в стране таких дерзких людей, как большевики.

О современной молодежи говорил с необыкновенной сердечностью.

— Не хочу говорить вам комплиментов, но не могу не сказать: молодцы вы все-таки, милостивые государи. Сколько бодрости, задора,

воли. Именно воли. Молодежь, возглавляемая комсомолом, бодрa, энергична, упорна. Нет у ней той хандры и грусти, которая в свое время даже культивировалась в русской молодежи как эдакая будто бы национальная черта. Вам смешно, а в мою молодую пору модно было даже покашливать, дескать, у меня, кхе-кхе-кхе, туберкулез. А этому туберкулезнику только кули с солью на пристани таскать. Навидался я таких.

И сейчас же, хитро прищурившись, приводит пример:

— У меня, знаете ли, был вчера забавный случай. В московской пятьдесят шестой школе. Выходит на сцену эдакий господин лет четырнадцати, ершистый, лицо точно обрызгано веснушками, и так заговорил, будто Плевако — был такой на Руси адвокат. Неважно, что слова путал, главное, говорил с той уверенностью, с таким зарядом, что и меня захватил. Так-то...

Помолчали.

Задумчиво посмотрел в окно, на пустынный переулок.

Зеленое кресло

— Да-а, большие, большие у вас перемены, столько нового, интересного. — И как бы подчеркнул: — Такие быстрые перемены могут происходить лишь в атмосфере невероятной энергии.

Мы, разумеется, все молчали. Слушали. Записывали. Запоминали. И только Морковка отважилась перебить нашего маститого собеседника:

— А вы Ленина знали?

— Владимира Ильича? — Лицо Горького стало задумчиво. Воспоминания на миг разгладили на нем глубокие морщины. — Знал, знал. Вот человечище-то был. — И вдруг сказал: — Он здесь, в этой квартире у меня бывал... Вместе Бетховена слушали... Нет, не самого Бетховена, конечно, — с этим уточнением он адресовался прямо к Морковке. — Пианист Добровейн бетховенские пьесы играл. — Он встал, открыл дверь в соседнюю комнату. — Вон на том рояле. Хорошо играл Добровейн. А мы, Ленин, Екатерина Павловна и я, слушали. Владимир Ильич сидел, кажется, в том вон кресле, — он показал в глубину соседней комнаты, и все мы спрессовались в дверях, желая увидеть, в каком именно кресле сидел Ленин. Но не увидели. Кресло было несколько в стороне.

Горький улыбнулся.

— Хотите кресло посмотреть? Ничего особенного, обычное старое кресло. Ну, пойдете.

Он встал, и мы прошли в соседнюю комнату, где маленькая пожилая симпатичная женщина стелила на стол бархатную скатерть. Это была просторная гостиная. Лампа под стеклянными висюльками плавала над столом. Несколько отличных акварелей на стенах. Большой рояль. На

крышке рояля — странные деревянные игрушки — клоуны, черти, полицейские, все с оскаленными зубами.

— Это щелкунчики, — пояснил наш хозяин. — Орехи колоть. Может, кто слушал оперу «Щелкунчик»? Так вот такие щелкунчики.

Морковка не выдержала, присела в кресло, в котором сидел Ленин. В обычное, резное, обитое выгоревшим зеленым плюшем кресло, какие бывали в староинтеллигентских квартирах прошлого века. И, стыдно признаться, нам, взрослым, захотелось сделать то же. И сделали. Стали присаживаться по очереди. А Горький стоял в дверях, смеялся, откровенно и весело так смеялся, потом как-то особенно задушевно сказал:

— Хороший человек был Владимир Ленин. Мало таких людей жило на земле. — И из слова «хороший» выкатились увесистые, круглые, как бублики, «о».

Два часа продолжалась встреча. Два часа и пять минут — точно засекали для себя все мы. Разумеется, мы напомнили Горькому обещание приехать к нам в Тверь встретиться с тверскими комсомольцами, познакомиться с нашими фабриками, заводами и напомнили о его обещании взять литературное шефство над «Сменой».

— Думаете, я у вас не бывал? — ответил он. — Бывал. Тверь знаю. Хороший город. Знаю еще, что козлами вас, тверяков, именуют и что вы утверждаете, что Тверь старше Москвы. Насчет козлов-то, разумеется, я не судья, а насчет возраста Твери так оно, кажется, вроде и есть. Я ведь однажды целую зиму прожил у вас в Тверской губернии. Со своим приятелем — лаборантом, он на бумажной фабрике у купцов Кувшиновых работал. Сперва они ко мне ничего относились, в общем-то неглупые были промышленники и вроде бы будущее видели. И все-таки потом весной Кувшинов меня вместе с моим приятелем попросил. Не сошлись взглядами на рабочий вопрос. Ну, я на него не сержусь, не осуждаю. Каждая птица поет тем голосом, какой ей природа дала... Так-то. Еще вопросы есть?

Мы понимали, что неудобно продолжать беседу в передней. Знали и пословицу «Не бойся гостя сидящего, бойся гостя стоящего». Морковка этой пословицы, видимо, не знала и угостила хозяина таким вопросом:

— А кто это Екатерина Павловна, которая нас в квартиру не пустила?

Горький смущенно откашлялся.

— А это, милостивая девица, моя бывшая жена, мать моего сына Максима, который со мной приехал. Вы его видели. И самый близкий для меня в Москве человек. Вы на нее не сердитесь, она хорошая, добрая, гостеприимная, только уж больно много люду ко мне сейчас ходит... Меня она бережет. Так-то.

Он пожал нам всем руку и, когда очередь дошла до Морковки, она руки ему не подала, ответила пионерским салютом, — и рука Горького повисла в воздухе.

— И всегда-то эти ваши малыши меня подводят, — смущенно сказал Алексей Максимович, даже слегка покраснев. — Никак не могу усвоить их обычай...

И еще раз повторил свое обещание приехать в Тверь.

Увы, болезнь не дала ему тогда выполнить это. Он так и не приехал и вскоре вернулся в свое Сорренто, откуда мы больше уже не получали писем.

Так откуда же шли письма?

Вот и все, что я могу вспомнить о странной двухлетней дружбе, связавшей тверских комсомольцев с великим писателем Максимом Горьким.

С тех давних пор небольшой итальянский город Сорренто меня особенно интересовал, хотя в солнечной стране этой множество интереснейших городов, красот и архитектурных сокровищ, пользующихся гораздо большей славой.

Когда советские люди совершали первый круиз вокруг Европы и наш лайнер подошел к причалу Неаполитанской бухты, все мы настоятельно потребовали посещения Сорренто. На нескольких автобусах привезли нас в этот ослепительно белый город, красиво вписанный в яркую вечную зелень, накрытый ультрамариновым небом. Первый же встречный карабинер назвал нам улицу и даже любезно проводил до небольшого двухэтажного особняка, выглядывавшего из яркой зелени.

Владелица этого особняка, какая-то маркиза или графиня, при виде пестрой массы людей, наступающей на ее довольно скромный дом, скрылась, и пожилая служительница доложила нам, что хозяйки нет дома, а пустить нас в дом без нее она не может. Постояли, пошумели, пофотографировались у мемориальной доски и вернулись в автобусы, не очень даже ворча на негостеприимную хозяйку. Ее можно было понять: каждый пароход, прибывший из России, привозил к ней целую толпу гостей.

Но совсем недавно сбылась мечта юности, и я все-таки побывал в этом доме. На этот раз поступил хитрее. Мой старый друг, итальянский писатель и сенатор, дал мне записку к соррентийскому квестору, что переводится как полицеймейстер.

— Он человек левых убеждений, друг Советского Союза, — пояснил сенатор. — Он вам устроит. — Сенатор был настолько любезным, что даже позвонил квестору по телефону.

Полицеймейстер левых убеждений оказался действительно милым человеком. Он созвонился с маркизой или графиней. Что он говорил ей по-итальянски, я, разумеется, не понял, но только двери дома перед нами раскрылись, и хозяйка его, немолодая женщина, хранящая,

однако, следы энергичной итальянской красоты, сама вызвалась стать нашим гидом.

Из горьковских вещей в доме сохранилось две: картина, пейзаж весны, российской весны, — черная пахота, жирные борозды, грачи над ними, а вдали на фоне леса белая церковка. Все русское, русское. На втором полотне изображена была Волга где-то в ее среднем течении. Широкая, раздольная, сверкающая на солнце, а на воде — вереница плотов. Тоже Россия. Коренная Россия. Такой, какой ее знал Горький.

О ней, вероятно, он и думал и мечтал, сидя в своем кабинете, из больших «итальянских» окон которого за пальмами виделось синее-синее море, накрытое ультрамариновым небом.

Остальные комнаты не показали. Хозяйка, смущаясь, сообщила мне, что они сданы американским туристам, и она не имеет права в них входить. Да они, эти остальные комнаты, и не были мне интересны. Меня интересовал лишь кабинет, где писались те самые письма, что приходили когда-то к нам в город Тверь. В этом кабинете я как-то особенно живо представил себе Горького, каким я видел его в двадцать восьмом году: в голубой рубашке, с галстуком-самовязом из той же материи, с папиросой в руке, сидит и читает письма. Читает, задумывается, что-то прикидывает в уме. А может быть, наклоняется к столу над какой-нибудь рукописью, а может быть... Может быть, пишет письмо. Письмо из Сорренто. Письмо тверским комсомольцам, в мои родные края.

Я до сих пор благодарен квестору левых убеждений и милой смуглой графине или маркизе за то, что они позволили мне уже теперь, в сегодняшние мои дни, постоять у окна бывшего горьковского кабинета и воссоздать для себя эту дорогую картину.